



Н·С·ЛЕСКОВ

Николай Семёнович Лесков

**Совместители**  
(Рассказы кстати #1)

# Содержание

#1 . . . . .	0005
Глава первая . . . . .	0006
Глава вторая . . . . .	0012
Глава третья . . . . .	0023
Глава четвертая . . . . .	0033
Глава пятая . . . . .	0037
Глава шестая . . . . .	0041
Глава седьмая . . . . .	0044
Глава восьмая . . . . .	0048
Глава девятая . . . . .	0051
Глава десятая . . . . .	0055
Глава одиннадцатая . . . . .	0057
Глава двенадцатая . . . . .	0061
Глава тринадцатая . . . . .	0066
Глава четырнадцатая . . . . .	0071

**Николай Лесков**  
**Совместители**  
***Буколическая повесть на  
исторической канве***

## **Род сей ничем же изимается.**

Совместительство у нас есть очень старое и очень важное зло. Даже когда по существу как будто ничему не мешает, оно все-таки составляет зло, – говорил некоторый знатный и правдивый человек и при этом рассказал следующий, по моему мнению, небезынтересный анекдотический случай из старого времени. – Дело идет о бывшем министре финансов, известном графе Канкрине. Я записал этот рассказ под свежим впечатлением, прямо со слов рассказчика, и так его здесь и передам, почти теми же словами, как слышал.

# Глава первая

Граф Канкрин был деловит и умен, но любил поволочиться. Тогда было, впрочем, такое время, что все волочились. Даже впоследствии это перешло как бы в предание по финансовому ведомству, и покойный Вронченко тоже был превеликий ухаживатель: только в этом игры и любезности той не было, как в Канкрине [1]. Такое господствовало настроение: жизнь играла у гробового входа.

И те, кому волокитство уже ни на что не нужно было, и они все-таки старались не отставать от сверстников.

Если не для чего-нибудь, то хоть для порядка или приличия, все имели дам на попечении. В самой большой моде были танцорки или цыганки, но иногда и другие особы соответственного значения. И притом никто почти не скрывал свои грешки, а нередко даже желали их огласки. Это давало случай в обществе подшучивать над «старыми грешниками». О них рассказывали разные смешные анекдоты, а это делало грешникам известность и рекомендовало их как добрых и за-

бавных вье-гарсонов.

Случалось, что имя грешника вспоминалось с какою-нибудь веселою шуткою при таких лицах, что это воспомянутому было полезно, и этим дорожили и умели обращать себе в выгоду.

Были даже такие старички, которые сами про себя нарочно сочиняли смешные любовные историйки и доходили в этом до замечательной виртуозности. Позднейшие критики, не знавшие хорошо действительности прошлой жизни, приписали нигилистической поре стремление «пить втроем утренний чай»; но это несправедливо. Все это было известно гораздо раньше появления нигилистов и производилось гораздо крупнее, но только тогда на это был другой взгляд, и «чай втроем» не получал тенденциозных истолкований.

А что старички в то время очень, очень шалили и что грешки их забавляли общество – это вы можете видеть по театральному репертуару. Тогда нередко так с кого-нибудь прямиком и писали пьесы. Например, «Новички в любви», или «Его превосходитель-

ство, или Средство нравиться» – это все с натуры. Теперь всех этих пьес уже и названий не припомнишь, а тогда, бывало, выведенных лиц по именам в театре называли и смеялись. Многие актеры, особенно Мартынов, бывало, нарочно гримировались и копировали на сцене того, в кого метили. Был даже один такой случай, что некто, имевший желание о себе напомнить, сам избрал для этого театр и сам приезжал к Мартынову с просьбою: «нельзя ли так представить, чтобы его лицо узнали». Мартынов над этим просителем подсмеялся: он ему не отказал, но что-то такое как-то прикрасил по-своему и чуть-чуть не повредил почтенному человеку. Впрочем, дело обошлось, и тот возобновил себя у кого желал в памяти и получил солидную должность.

В министерстве финансов тогда собралась компания очень больших волокит, и сам министр считался в этой компании не последним. Любовных грешков у графа Канкринна, как у очень умного человека, с очень живою фантазией, было много, но к той поре, когда подошел комический случай, о котором те-

перь наступает рассказ, граф уже был в упадке телесных сил и не совсем охотно, а более для одного приличия вел знакомство с некоторой барынькой полуинтендантского происхождения.

Среди интендантов граф Канкрин был очень известен по его прежней службе, а может быть и по его прежней старательности в ухаживаниях за смазливými дамочками, или, как он их называл, «жоли-мордочками». Это совсем не то, что Тургенев называет в своих письмах *мордемондии*. «Мордемондии» – это начитанная противность, а «жоли-мордочки» – это была прелесть.

Притом, я не знаю, как это кажется вам, а я в этом названии слышу что-то веселое, молодое и беззаботное, и в слове «жоли-мордочка» не вижу ничего ни грубого, ни обидного для прекрасного пола.

В оное былое время, когда граф интендантствовал, «жоли-мордочки» его сильно занимали и немало ему стоили; но в ту пору, до которой доходит мой рассказ, он уже только «соблюдал приличия круга» и потому стал и расчетлив и ленив в оказательствах своего

внимания даме.

А состоявшая в это время при нем «жолли-мордочка» была, как на трех, особа с некоторым образованием и очень живого характера: она требовала внимания, сердилась, капризничала, делала ему сцены и вообще хотела, чтобы он ею занимался и как-нибудь ее развлекал. Граф же был и стар и очень занят, да и по положению своему он не мог удовлетворять эти требования. А потому, поступая в духе времени, он очень желал, чтобы часть забот о развлечении молоденькой особы понес кто-нибудь другой. Это тогда не только допускалось, но даже и патронировалось. Одно лишь было в условиях этикета, чтобы совместитель был человек с тактом и не ронял значения главенствующего лица или патрона.

Таким дамам позволяли появляться с их адъютантами, где можно, в общественных местах, и это никому не вредило, потому что от этого шел хороший говор: «Вот-де князь NN надувает графа ZZ». А совсем никакого надувательства ни с чьей стороны и не было – все было с общего согласия, но только через хорошего «атташе» больше прославлялось имя па-

трона. Старичок, бывало, заедет утром, чашку кофе или шоколада выпьет и уедет и денег пачку оставит, а после визита приезжает совместитель, и идет счастливое препровождение времени.

Но нынешняя «жоли-мордочка» графа была капризница и дикарка: она ни с кем не знакомилась и тем ужасно обременяла графа непрерывными претензиями.

Он хотел отношений более удобных, а она скучала и совсем другое пела.

– Я, – говорит, – так, без участия сердца, жить не могу – я понимаю только одни серьезные отношения.

Граф ей несколько раз представлял, что ему невозможно сидеть у нее и оказывать «участие сердца», а она говорила:

– Нет, вы должны. Пойдем погуляем; я вам что-нибудь почитаю или поиграю.

Ни за что не хотела понять, что ему, как министру, это неудобно. Он и озаботился помирить ее требования как-нибудь иначе и сделал в этом направлении очень находчивый и смелый шаг; но только с хлопотами его вышел пресмешной казус.

## Глава вторая

Граф жил летом в Лесном, который тогда считался очень хорошим дачным местом. Канкрин сам ведь и положил начало здешнему заселению и всегда Лесному покровительствовал.

Оттого, может быть, здесь и после долго жили директора из министерства финансов, но только это уж не то. Славы Лесного они не поддержали – она пала невозвратно. Даму свою Канкрин поместил от себя в сторонке, именно в Новой Деревне, где тогда тоже было еще довольно чистенько и прилично. На здешних дачах помещалось большинство нежных особ, имевших именитых попечителей. Дачи этих дам, бывало, заметны, и опытный глаз сейчас их узнавал по хорошим, густым занавескам и по тому, что из них чаще всего слышалось пение куплетов:

*«В вас, конечно, нет дурного,  
Только, – право не в упрек,  
– Нет ли где-нибудь седого?»  
– «Что-с?»*

а хор отвечает:

*Водится грешок!  
Водится грешок!*

Весело, очень весело жилось! И куда только все это ушло и куда миновалось с усилением разночинца!..

Как пошли петь под бряцание: «Ты душа ль моя, красна девица! Ты звезда ль моя ненаглядная», – так игривый куплет из комнатного пения и вывелся.

«Всякой вещи свое время под солнцем» – даже и куплету.

Так пройдет и оперетка, с которою нынче напрасно борются.

Все пройдет когда-нибудь в свое время.

Канкрин посещал свою пустыньницу всегда верхом и всегда без провожатого; но серьезный служебный недосуг мешал ему делать эти посещения так часто, как желала его неудобная, по серьезности своих требований, «жоли-мордочка». И выходило у них худо: та скучала и капризничала, а он, будучи обременен государственными вопросами и литературой, никак не мог угодить ей. Сцены она

умела делать такие, что граф даже стал бояться один к ней ездить.

Рядом же с дачей графа Канкрина в Лесном в это лето поселился молодой, умный, прекрасно образованный и очень в свое время красивый гвардейский кавалерист П. Н. К—шин. Он был из дворян нашей Орловской губернии, и я знал его отца и весь род этих К—шиных: все были преумны и прекрасивы, этакie бравые, рослые, черноглазые, – просто молодцы.

Этот интересный сосед графа, несмотря на свои молодые годы и на военное звание, с представлением о котором у нас соединяется понятие о склонности к развеселому житью, вел жизнь самую уединенную – он все домо-седничал и читал книги или играл на скрипке.

Игра на скрипке и обратила на него внимание графа, который тоже был музыкант, и притом очень неплохой музыкант. Граф играл на скрипке в темной комнате, примыкавшей к его кабинету, который был тоже полутемен, потому что окна его были заслонены деревьями и кроме того заставлены рамками,

на которых была натянута темно-зеленая марли.

Офицер заиграет, а граф положит перо и слушает и, заинтересовавшись им, спрашивает один раз у своего латыша-камердинера:

– Кто это, братец, возле нас так хорошо играет?

Тот отвечает:

– Офицер какой-то, ваше сиятельство.

– Да кто же он такой – он какого полка?

Камердинер говорит:

– Я не знаю.

– Ну так я тебе приказываю: разузнай и доложи мне.

Камердинер все разузнал и вечером, когда стал раздевать графа, докладывает ему, что сосед их – молодой одинокий офицер самого щегольского кавалерийского полка, человек очень достаточный, а живет скромно. Графу это понравилось. Молодой человек и военный, если он все сидит дома да читает, то непременно, должно быть, он человек интересный и нравственный. Ветреник или гуляка не выдержал бы, он бы все бегал да на глазах мотался. У графа что-то на сон грядущий

и замелькало в мечтах, а утром, только что граф просыпается, – офицер уже на самой тонкой струне выводит какую-то самую забористую паганиниевскую нотку.

«Ишь, однако, какой он досужий, этот офицерик!» – подумал граф, и ему захотелось посмотреть на соседа. А тот как раз подошел и стал со скрипкою у окна.

Камердинер говорит:

– Извольте, ваше сиятельство, смотреть: господин офицерик весь теперь в виду вашем.

Граф взглянул и отвечает камердинеру:

– Ты, братец, дурак. Разве это «офицерик»? Это целый офицер, да еще, пожалуй, даже офицерище!

И графу захотелось с этим соседом познакомиться.

На следующий же день, когда молодой офицер возвращался с купанья и проходил мимо ограды сада графа Канкрина, тот стоял у своей решетки и заговорил с ним.

– Извините меня, поручик, – это вы так хорошо играете на скрипке?

– Да, я играю, ваше сиятельство. Не смею

думать, чтобы я играл хорошо, но прошу у вас извинения, если беспокою вас моею игрою. Я, впрочем, старался узнать время, когда я могу не нарушать вашего покоя.

– О нет, нет, нисколько. Сделайте милость, сыграйте! Я сам играю и прошу вас покорно – познакомимтесь. И у жены моей тоже собираются Klmperei [2]. Приходите ко мне запросто, по-соседски, и мы с вами вместе поиграем.

Молодой человек поклонился, а граф указал часы, когда его удобно посещать запросто, «по-соседски», и они расстались.

Кавалерист поблагодарил графа и очень умно воспользовался его приглашением. Он пришел к графу не очень скоро и не чересчур долго, а как того требовали вежливость и уважение к лицу Канкрина, человека действительно замечательного – и по уму, и по деятельности, и по таланту.

В два визита молодой, умный поручик чрезвычайно расположил к себе министра. Граф с удовольствием любовался прекрасным молодым человеком и втайне возымел на него свой план. Офицер ему казался как раз

таким человеком, с которым он мог завоевать себе – если не область мира, то некоторую долю весьма желательного покоя. Короче и проще говоря, граф был уверен, что его беспокойная дама с серьезными взглядами и требованиями непременно этим молодым человеком заинтересуется. Стоит лишь их познакомиться – и они станут вместе читать и разыгрывать дуэты, а ему, старичку, будет отдых. И вот, когда офицер еще раз навестил Канкринна, министр и сказал ему:

– Ах, поручик, какой сегодня хороший день. Мне совсем не хочется сидеть дома и читать мои скучные бумаги. Я бы с большим удовольствием проехался верхом, а от вас зависит сделать мне эту прогулку еще приятнее.

Тот говорит:

– Я к вашим услугам, – но только спрашивает, каким образом он может увеличить это удовольствие.

– А вот, – отвечает граф, – прикажите-ка, чтобы вам оседлали вашу лошадь да привели ее сюда, и поедемте вместе.

Офицер с удовольствием согласился. При-

казание было немедленно отдано и исполнено: верховые лошади подведены к крыльцу, и граф с молодым человеком сели и поехали.

День был действительно прекрасный, располагающий человека хорошо себя чувствовать и весело болтать.

Канкрин был в своем обыкновенном, длиннополом военном сюртуке с красным воротником, в больших темных очках с боковыми зелеными стеклами и в галошах, которые он носил во всякую погоду и часто не снимал их даже в комнате. На голове граф имел военную фуражку с большим козырьком, который отенял все его лицо. Он вообще одевался кудаком и, несмотря на тогдашнюю строгость в отношении военной формы, позволял себе очень большие отступления и льготы. Государь этого как бы не замечал, а прочие и не смели замечать.

Всадники ехали довольно долго молча, но, несмотря на это молчание, видно было, что граф чувствует себя очень в духе. Он не раз улыбался и весело поглядывал на своего спутника, а потом, у одного поворота вправо к тогдашней опушке леса, остановил лошадь и

сказал:

– А знаете ли что, поручик: не заедем ли мы с вами к одной прехорошенькой дамочке.

Молодой человек немного сконфузился от этой неожиданности и проговорил, что он не знает – ловко ли это будет с его стороны приехать незванным в незнакомый дом.

– О, не беспокойтесь, – отвечал граф. – Вы уже во всем в этом положитесь на меня. Я, конечно, знаю, куда вас приглашаю. Это, я вам скажу, премилая молодая особа, и держит себя совсем без глупых церемоний. Мы с нею давно друзья и вы, я уверен, непременно захотите с нею подружиться. Она довольно умна и прехорошенькая. По своим семейным обстоятельствам она живет совершенно одна – монастыркой и очень часто скучает. Это ее единственный, можно сказать, недостаток. Мы приедем очень кстати, и вы увидите, как она мило нам обрадуется и встретит нас а bras-ouverts [3].

– В таком случае я в вашем распоряжении, – отвечал офицер.

– Ну вот и прекрасно! – воскликнул граф. – А эта милая дама и живет отсюда очень неда-

леко – в Новой Деревне, и дача ее как раз с этой стороны. Мы подъедем к ее домику так, что нас решительно никто и не заметит. И она будет удивлена и обрадована, потому что я только вчера ее навещал, и она затомила меня жалобами на тоску одиночества. Вот мы и явимся ее веселить. Теперь пустим коней рысью и через четверть часа будем уже пить шоколад, сваренный самыми бесподобными ручками.

Офицер молча поклонился.

– Да, да, – продолжал Канкрин. – Вы не думайте, что это одни слова. Таких других ручек не скоро отыщете. Лавальер дорого дала бы, чтобы иметь такие ручки, потому что их-то ей и недоставало, но у этой госпожи ни в чем нет недостатка. Ну, давайте поводья, и мы сейчас будем там.

Поводья даны, и путники приехали так скоро, как обещал Канкрин. И другое его изображение тоже оказалось верно: при приближении их к дачке, обитаемой прелестною дамою, их действительно никто не заметил. На маленьком дворике была тишина – только чьи-то пестренькие цесарские куры похажи-

вали и делали свойственные им фальшивые движения головами из стороны в сторону – точно они на кого-то кивали. Разрисованные сторы с пастушками и деревьями были опущены донизу, и из-за одной из них выглядывала морда сытого рыжего кота, но сама милая пустынноца была нигде не заметна и не спешила а bras-ouverts навстречу графу.

## Глава третья

Через минуту приезд гостей был, однако, замечен и произвел смятение в маленьком домике. Владетельная обитательница дачи не показала, а ее служанка взглянула в окно и тотчас же быстро снова исчезла. Запертую изнутри дверь открыли не совсем скоро, и вышедшая навстречу гостям девушка заговорила второпях, что «барышня» нездорова, а она оберегала ее, чтоб было тихо, и сама заснула.

Граф спросил:

– Чем Марья Степановна нездорова?

– Зубки у них болят – всю ночь не спали.

– А-а, зубки! Надо заговорить ее зубки.

Канкрин входил в комнаты, громко стуча своими галошами, а его спутник следовал молодой, легкой поступью за ним.

Горничная еще больше обеспокоилась и стала говорить:

– Осмелюсь доложить... Они сейчас выйдут, я им уже сказала, что вы пожаловали, и они одевают распашонку.

Образование тогда еще было распределено так неровно, что многие горничные не упо-

требляли иностранное слово «пеньюар», а называли по-русски «распашонка».

– Ну, так мы подождем, пока она оденется, – отвечал граф и не пошел далее, а спокойно сел на широком оттомане и пригласил сесть офицера: – Садитесь, поручик. Не стесняйтесь, – я вас уверяю, что мы будем хорошо приняты.

Он понизил голос и, наклонясь к уху собеседника, добавил:

– Она немножко с душком – как и все хорошенькие женщины, – но это ровно ничего не значит: миленьким женщинам все простить можно. Притом же надо иметь снисхождение к ее положению. Как хотите, а оно немножко неправильно и уязвляет ее самолюбие. Конечно, она ни в чем не нуждается, но это все не то, что она намечала в своих мечтаниях. Она дочь почтенного человека и образована, притом мечтательна. Она прекрасно умеет рассказать свою историю и, верно, когда-нибудь вам ее расскажет. О, она преинтересная и любит «участие сердца».

И граф сообщил кое-что о странностях живого и смелого характера Марьи Степановны.

Она жила в фаворе и на свободе у отца, потом в имении у бабушки, отчаянно ездит верхом, как наездница, стреляет с седла и прекрасно играет на бильярде. В ней есть немножко дикарки. Петербург ей в тягость, особенно как она здесь лишена живого сообщества равных ей людей – и ужасно скучает.

– Но вы понимаете, – продолжал граф, – что, после утомления однообразием характеров наших светских «кавалер-дам», такое живое существо – оно, черт возьми, шевелит, оно волнует и встряхивает своею кипучей натурой.

А Марья Степановна все-таки еще не показывалась.

Граф устал говорить, тем более что спутник его ничего ему не возражал, а только молча с ним соглашался и обводил глазами квартиру прелестной дамы в фальшивом положении. Как большинство всех дачных построек, это был животрепещущий домик с дощатыми переборками, оклеенными бумагой и выкрашенными клеевою краскою.

Набивные бумажные обои тогда еще только начинали входить в употребление в город-

ских домах, а дачные домики внутри раскрашивали и потолки их расписывали цветами и амурами.

Это тогда дешевле стоило и, по правде сказать, выходило недурно.

Убранство комнат было не бедное, но и не богатое, но какое-то особенное, как бы, например, походное или вообще полковое; точно как будто здесь жила не молоденькая красивая женщина, а, например, эскадронный командир, у которого лихость и отвага соединялись с некоторым вкусом и любовью к изящному. Неплохие ковры, неплохие занавесы, диваны, фортепиано и цитра, но больше всего ковров. Все, где только можно повесить ковер, там покрыто и занавешено коврами. Огромный же персидский ковер закрывает от потолка до полу и всю дверь в спальню, где теперь за перегородкой одевается Марья Степановна.

А оттуда все-таки еще ни слуха ни духа.

– Однако долго она что-то надевает свою распашонку! – заметил граф и громко позвал по-русски:

– Марья Степановна!

Очень приятный грудной контральт отозвался из-за стенки:

– Сейчас.

– А когда же вы кончите свои Klimperei? Мы уже устали вас ждать.

– Тем лучше.

– Да, но если вы скоро не выйдете, то я буду так дерзок, что пойду к вам.

– Вы этого не смеете. Впрочем, я сейчас, сейчас выйду.

– Все пукольки, пукольки, – пошутил граф.

Офицер приподнялся с дивана и начал рассматривать приставленную в углу комнаты доску, на которой был наклеен белый картон с расчерченными на нем кругами и со многими следами попавших сюда пуль.

– Это вот наша Диана изволит стрелять, – сказал граф.

– Довольно меткие выстрелы.

– Да, но ведь это не дозволено в жилом месте, и я уже из-за нее имел по этому поводу объяснения... Но, однако...

Граф сделал нетерпеливое движение и добавил:

– Этот прекрасный стрелок нынче так дол-

го медлит, что я позволю себе сделать атаку.

И граф только что приподнялся с дивана, чтобы постучать в двери, как завешивавший дверь ковер отодвинулся, и в его полутемном отвороте появилась красивая Марья Степановна. Она в самом деле была очень хороша — хотя немножко полновата. Рост у нее был небольшой, но хороший, и притом удивительное античное телосложение, а лицо несколько смугловатое, с замечательным тонким очертанием, напоминающим новогреческий тип. Это прелестное лицо очень знали в Петербурге, и Марья Степановна впоследствии еще покрушила много сердец и голов, так как с этого случая, о котором я теперь рассказываю, только началась ее настоящая карьера. Впоследствии из нее вышел такой на все руки боец и делец, через которого обделывались самые невозможные дела. Но мы, однако, не будем предупреждать события.

Граф подал Марье Степановне руку, а другою рукою поддержал ее за затылок под головку и поцеловал ее в лоб, который та подставила графу как истая леди.

Затем он представил хозяйке гостя, а тому

сказал:

– Марья Степановна—мой друг: ее друзья – мои друзья, а врагов у нас с нею нет.

Марья Степановна ласково протянула гостью руку, а в сторону графа отвечала:

– Что до меня, то это не так: у меня враги есть и впредь очень быть могут, но я их никогда не замечаю.

Между тем, хотя она держала себя и очень самоуверенно и смело, но в ее лице, фигуре и в довольно хороших, но несколько нервных движениях было что-то немножко вульгарное и немножко тревожное, но тревожное, так сказать, «с предусмотрением» на всякий возможный случай. Она держалась прекрасно и говорила бойко и умно, не стесняясь своей очень очевидной роли, – что непременно стала бы делать женщина менее сообразительная; но только ей все-таки было не по себе, и она прибегла к общеармейскому средству: она пожаловалась на нездоровье, причем впала в довольно заметную ошибку: девушка ее говорила о зубной боли, а сама Марья Степановна возроптала на несносную мигрень.

Граф заметил ей это и рассмеялся, а она рассердилась и запальчиво ответила:

– Не все ли это равно.

– Ну, не совсем все равно.

– Совершенно равно: когда сильно болят зубы, тогда все болит. Не правда ли? – обратилась она к офицеру.

Тот согласился с шутливым поклоном.

– Вы очень милы, – отвечала она и снова обвела комнату взглядом, в котором читалось ее желание, чтобы визит посетителей сошел как можно короче. Когда же граф сказал ей, что они только выпьют у нее чашку шоколада и сейчас же уедут, то она просияла и, забыв роль больной, живо вышла из комнаты отдать приказания служанке, а граф в это время спросил своего спутника:

– Какова-с?

– Эта дама очень красива.

– Да, это лицо сотворено для художника – и она позировала перед Майковым. Приятный художник. Я его знал еще в двенадцатом году, когда он был офицером. Очень нежно пишет. Государь любит его кисть. У меня есть несколько головок Марьи Степановны, но тут

у нее у самой есть с нее этюд, где видно больше, чем одна головка... Это ничего, что она полна. Майков был ею очарован. Говорят, будто он религиозен, – я этого не знаю, но он в беззастенчивом роде пишет прелестно. Вы видали его произведения в этом роде?

– Нет, – я о них только слышал.

– Ну, так вы сейчас это можете видеть: давайте вашу руку и идите за мною.

И Канкрин почти втянул офицера за собою в спальню красавицы, где над газированным уборным столом висел довольно большой, драпированный бархатом, портрет Марьи Степановны. Портрет действительно был хорошо написан, известными нежными майковскими лассировками и с большою классическою открытостью, позволявшею любоваться и формами и живым и сочным колоритом прелестного женского тела. Картина была вполне мастерская и вполне достойная живой красоты, которую она воспроизводила. Но майковские лассировки были очень нежны, а офицер был от природы сильно близорук и, чтобы рассмотреть картину, должен был стать к ней очень близко. Канкрин его

сам к этому и подвинул, подведя вплотную к пышно убранному кисеею туалетному столику.

Тут и случилось самое неожиданное происшествие: офицер не заметил, как он запутался шпорами или саблей в легкие оборки кисейной отделки туалетного стола, а когда он нагнулся, чтобы поправить свою неловкость, то сделал другую, еще большую. Желая освободить себя из волн кисеи, он приподнял полу чехла и остолбенел: глазам его, как равно и глазам графа, представились под столом две неизвестно кому принадлежащие ноги в мужских сапогах и две руки, которые обхватывали эти ноги, чтобы удержать их в их неестественном компакте.

## Глава четвертая

Молодой офицер был преисполнен жесточайшею на себя досадою за свою неловкость, и в то же время ему разом хотелось смеяться, и было жаль и этой дамы, и графа, и того неизвестного счастливица, кому принадлежали обретенные ноги.

Но положение сделалось еще труднее, когда офицер оглянулся и увидал, что сама Марья Степановна успела возвратиться и стояла тут же, на пороге открытой двери.

«Вот, черт возьми, положение!» – подумал он, и в его голове вдруг промелькнуло, как такие вещи разыгрываются у людей той или другой нации и того или другого круга, но ведь это все здесь не годится... Ведь это Канкрин! Он должен быть умен везде, во всяком положении, и если в данном досадном и смешном случае Марье Степановне предстояла задача показать присутствие духа, более чем нужно на седле и с ружьем в руках, то и он должен явить собою пример благоразумия!

Между тем картина не могла оставаться

немою, – и граф был, очевидно, того же самого мнения.

Видя всеобщее удручение немою сценою, граф, нимало не теряя своего спокойного самообладания, нагнулся к задрапированному столу, из-под которого торчали ноги, и приветливо позвал:

– Милостивый государь!

Ответа не было.

– Молодой человек! – повторил граф.

Ноги слегка вздрогнули.

– Mon enfant [4], – обратился граф к Марье Степановне, – не можете ли вы мне сказать, как зовут этого странного молодого человека?

– Его зовут Иван Павлович, – отвечала покраснев, но с задором в голосе хозяйка [5].

– Прекрасная вещь, но как жаль, что он так застенчив! Зачем он от нас прячется?

– Так... просто застенчив...

– Что за причуды сидеть под столом!

– Он прекрасно вышивает и помогал мне вышивать сюрприз ко дню вашего рождения и... сконфузился.

– Сюрприз ко дню моего рождения...

Граф послал ей рукою по воздуху поцелуй

и добавил:

– Merci, mon enfant [6], Иван Павлович, выходите: вам там совсем неловко вышивать.

Гость под столом фыркнул от смеха и самым беззаботным, веселым голосом отвечал:

– Действительно, ваше сиятельство, неудобно.

И с этим вдруг, как арлекин из балаганного люка, перед ними появился штатский молодец в сюртучке не первой свежести, но с веселыми голубыми глазами, пунцовым ртом и такими русыми кудрями, от которых, как от нагретой проволоки, теплом палило...

Канкрин подал ему с лежавшего на столе серебряного plateau [7] большую черепаховую гребенку и сказал:

– Поправьте вашу прическу.

– Это напрасно, ваше сиятельство.

– Нет, она у вас в беспорядке.

– Все равно, ваше сиятельство, их причесать нельзя.

– Отчего?

– Они у меня не ложатся.

– Как не ложатся!

– Никогда, ваше сиятельство, не ложатся.

– Слышите! – обратился граф к офицеру; тот улыбнулся.

– Ну, а если их – эти ваши волосы намочить водою?

– И тогда не ложатся.

– Вот так натура! – подхватил граф и то же самое повторил, оборотясь к офицеру, а Марье Степановне сказал по-французски:

– А вы напрасно говорите, что он конфузлив.

– Он теперь оправился, потому что вы его обласкали.

– А-а, это очень быть может, – согласился граф и закончил:

– Ведите же нас, милая хозяйка, к вашему столу.

С этим он подал Марье Степановне руку и провел ее к столу, где всех их ожидал шокотлад.

На Ивана Павловича действительно была сказана напраслина, будто он конфузлив; но тем не менее он все-таки не знал, куда деть глаза, и министр вступился в его положение и начал его расспрашивать.

# Глава пятая

— Служите ли вы где-нибудь, молодой человек?

— Служу, ваше сиятельство.

— И что же: везет ли вам на службе?

— Не знаю, как вам об этом доложить.

— Ну какое вы, например, занимаете место?

— Канцелярский чиновник.

— Еще не высоко! А давно уже служите?

— Пять лет.

— Что же вас не подвигают?

— Протекции не имею, ваше сиятельство.

— Надо иметь не протекцию, а способности и доброе прилежание при добром поведении. Это гораздо надежнее.

— Никак нет, ваше сиятельство.

— Что значит ваше «никак нет»?

— Протекция гораздо надежней.

— Что за вздор вы говорите!

— Нет-с, это действительно так.

— Перестаньте, пожалуйста! Это даже думать так стыдно.

— Отчего же, ваше сиятельство, стыдно, — я это беру с практики.

– С какой практики? Велика ли еще ваша практика! Вы так молоды.

– Молод действительно, ваше сиятельство, но все так говорят, и я тоже по себе заключаю: я считаюсь и способным, и все старание прилагаю, и ни в чем предосудительном в поведении не замечен, в этом, я думаю, Марья Степановна за меня поручиться может, потому что я ей уже три года известен...

– Ах, вы уже три года знакомы! – перебил граф. – Это раньше меня!

– Несколько менее, – заметила Марья Степановна.

– Да, действительно менее, – подхватил Иван Павлович.

– Он, однако, вовсе не застенчив, – шепнул ей на ухо граф.

– Вы его обласкали.

– Правда ваша, правда.

– А кто это, молодой человек, ваш главный начальник, при котором так мало значат труды и способности, а все зависит от протекции?

– Прошу прощения у вашего сиятельства: этот вопрос меня затрудняет.

– Не стесняйтесь! Мы здесь встретились просто у общей знакомой– милой и доброй дамы и можем говорить откровенно. Кто ваш главный начальник?

– Вы, ваше сиятельство.

– Как я!

– Точно так, ваше сиятельство: я служу в министерстве финансов.

– Ну, послушайте, – обратился граф по-французски к Марье Степановне, – он совершенно не застенчив.

Та сделала нетерпеливое движение.

– Отчего же я вас, Иван Павлович, никогда не видал? – спросил граф.

– Нет, вы изволили меня видеть, только не заметили. Я во все праздники являюсь и расписываюсь на канцелярском листе раньше многих.

– Да как же, наконец, ваша фамилия?

– Я называюсь N—ов.

– N—ов, – так я произношу?

– Точно так, ваше сиятельство.

– Ну, adieu, mon enfant [8], – обратился граф к даме, – и au revoir, monsieur N – ов [9].

Граф и его спутник простились, сели на

своих коней и уехали.

Наблюдавший всю эту любопытную сцену офицер заметил, что Марья Степановна различила разницу посланного ей графом «adieu» от адресованного Ивану Павловичу «au revoir», но нимало этим не смутилась; что касается самого Ивана Павловича, то он при отъезде гостей со двора выстроился у окна и смотрел совсем победителем, а завитки его жестких, как сталь, волос казались еще сильнее наэлектризованными и топорщились кверху.

«Черт меня знает, на какое я налетел происшествие», – думал офицер и ощущал сильное желание как можно скорее расстаться с графом.

## Глава шестая

То же самое, в свою очередь, испытывал и Канкрин. И ему, разумеется, не было теперь удовольствия ехать с глазу на глаз вдвоем с малознакомым щегольским офицером, который видел его в смешном положении.

Как только они выехали за Новую Деревню, на лужайку к Лесному, граф говорит:

– Ну, вы теперь отсюда куда же?

Офицер понял, что тот хочет от него отделаться, и сам этому случаю обрадовался.

– Я, – говорит, – хотел бы заехать к одному товарищу здесь, в Старой Деревне.

– Что же, и прекрасно, вы не стесняйтесь. А я поеду на Каменный навестить, графа Панина.

Им дальше было не по дороге.

Граф остановил коня и крепко, дружески пожал офицеру руку.

Тот ощутил в этом пожатии целую скромную просьбу и в молчаливом поклоне умел выразить готовность ее исполнить.

– Спасибо, – отвечал Канкрин, и они расстались.

Граф, однако, обманул своего молодого друга – он не поехал к Панину, а возвратился домой и прошел к супруге. Графиня Екатерина Захаровна (рожденная Муравьева) в это время принимала у себя какого-то иностранца-пианиста, которого привез ей напоказ частый ее гость, известный в свое время откупщик Жадовский.

Графиня и Жадовский сидели и слушали артиста, который с величайшим старанием показывал им свое искусство в игре на фортепиано.

Граф даже не вошел в комнату, а только постоял в открытых дверях, держась обеими руками за притолки, а когда пьеса была окончена и графиня с Жадовским похлопали польщенному артисту, Канкрин, махнув рукою, произнес бесцеремонно «*miserable Klimperei*» [10], и застучал обоими галошами по направлению к своему темному кабинету.

Здесь он надел на лоб козырек от фуражки, служивший ему вместо тафтяного зонтика, и сел за работу перед большим подсвечником, в котором горели в ряд шесть свечей под темным абажуром.

На половине «кавалер-дамы» Екатерины Захаровны (так величал ее покойный граф) долго еще оставались откупщик и артист и раздавалась «miserable Klimperei», а граф все сидел и, может быть, обдумывал один из своих финансовых планов, а может быть просто дремал после прогулки на лошади. Но только возвратившийся домой спутник графа видел с своего балкона силуэт Канкрина на марли заставок очень долго, а утром рано опять уже слышалась его скрипка. Это значило, что Канкрин встал, умылся и, вместо утренней молитвы, играет в своей темной уборной.

Значит, его настроение находится в полном порядке.

## Глава седьмая

На другой день, при докладе, Канкрин обратился к директору департамента, Александру Максимовичу Княжевичу, и спросил: есть ли у него канцелярский чиновник по фамилии N—ов?

Княжевич этого, наверно, и сам не знал, но отвечал, что, кажется, будто такой есть.

Спросили у эзекутора, — оказалось, что действительно есть чиновник N—ов.

— А давно ли он служит и где воспитывался?

Отвечают, что служит уже около пяти лет (совершенно верно, как говорил сам Иван Павлович). А происходит он из небогатых курских дворян, мать его была в Судже акушеркою, а он обучался на средства какого-то благодетеля в курской гимназии и окончил курс.

Граф это выслушал и говорит:

— Я его видел. В курской гимназии хорошо воспитывают. У нас образованных молодых людей немного еще: нельзя ли нам его как-нибудь по службе поощрить?

А Александр Максимович Княжевич был иногда упрям и с странностями; он отвечал:

– У меня нет никаких вакансий.

Только тут же случился директор другого департамента, который был ловчее; этот и вызвался:

– У меня, – говорит, – ваше сиятельство, в одном отделении есть место помощника столоначальника, и мне образованный, скромный молодой человек очень нужен.

Канкрин поблагодарил этого директора, и место Ивану Павловичу тотчас дали.

Как он был рад – уж это можно представить, но только на другой день, по подписании приказа, директор призвал Ивана Павловича к себе и говорит:

– Есть ли у вас вицмундир?

Иван Павлович отвечает:

– Никак нет, ваше превосходительство: я занимал до сих пор неклассную должность и вицмундира себе не шил, да и сшить не за что.

– Ну теперь, – отвечает директор, – вы повышены, и на классной должности вам вицмундир необходим. Я назначу вам из канце-

лярских сумм полтора ста рублей пособия, – извольте их получить и немедленно же закажите себе хороший вицмундир. Советую вам сделать его на Васильевском Острове у портного Доса. Он сам англичанин и всем англичанам работает. Его фраки очень солидно сидят, что для формы идет. Можете ему сказать, что я вас прислал: он и мне тоже работает. – А когда будете одеты, прошу ко мне явиться.

Дос сшил Ивану Павловичу такую вицмундирную пару, что тот сразу получил вид по крайней мере молодого сенатора.

– Чудесно сшито, – похвалил директор. – Теперь извольте же завтра представиться в этом вицмундире графу и поблагодарить его, так как вы вашим повышением обязаны непосредственному вниманию его сиятельства к вашим способностям и воспитанию.

«Эх, ты, черт возьми, какая загвоздка!» – подумал Иван Павлович.

Он и сам чувствовал в себе большую потребность благодарить графа, но, при воспоминании об обстоятельствах, которые предшествовали этому начальственному вниманию, мысли молодого человека путались.

Ивану Павловичу казалось и смешно и даже как будто дерзко напоминать о себе графу предъявлением ему своей интересной самоличности. Иван Павлович думал так, что если он не пойдет благодарить, то это будет лучше: граф наверно не сочтет этого за непочтительность, а, напротив, похвалит его скромность; но директор понимал дело иначе и настоял, чтобы Иван Павлович непременно пошел представляться и благодарить.

Делать нечего, надо было повиноваться.

# Глава восьмая

**В** нарочитый день, когда Канкрин принимал чиновников своего ведомства, стал перед ним в числе представлявшихся и Иван Павлович.

Только этот застенчивый человек, – сколько по скромности, столько же по тонкому расчету, – поместился ниже всех, в самом конце шеренги представлявшихся чинов. Этим Иван Павлович оказал скромность перед другими, более сановными лицами, а себе предусмотрительную выгоду, что, оставаясь последним, он мог принести свою благодарность министру наедине.

Действительно, так и пришлось: Канкрин отпустил по очереди всех представлявшихся, а потом подошел к последнему Ивану Павловичу и, не смотря ему в лицо, протянул руку, чтобы принять прошение.

Иван Павлович поклонился и молвил:

– Я, ваше сиятельство, не с прошением.

Канкрин вскинул на него глаза и проговорил:

– Что же вам угодно?

– Я являюсь, по приказанию директора, чтобы благодарить ваше сиятельство.

– За что?

– Я получил место...

– Прекрасно... я очень рад... Значит, вы его заслужили.

– Господин директор мне объявил, что вы сами изволили оказать мне в этом помощь.

– Очень может быть: вы мне помогали, а я вам помог. Это так и следовало. Желаю вам счастливо подвигаться вперед.

Граф поклонился и ушел, а директор призвал к себе в кабинет Ивана Павловича и расспросил его, что с ним говорил министр при представлении.

Иван Павлович отвечал:

– Граф изволили быть со мною очень милостивы и пожелали мне «счастливо подвигаться вперед».

Директор сделал жест и говорит:

– Это прекрасно, – вы можете считать себя устроенным: граф очень проницателен, и он не ошибся отметить в вас способного молодого человека, которому стоило только сделать первый шаг. Этот шаг теперь вами и сделан, а

дальнейшее зависит не от одних ваших стараний, но также и от сообразительности, – присядьте.

Иван Павлович поклонился.

– Присядьте, присядьте, – повторил директор, показывая ему на стул.

Тот сел.

# Глава девятая

— Финансовая служба, – заговорил директор, – это не то что какая-нибудь другая служба. Она имеет свои особенности. Здесь идет дело не о юридических фантазиях, а о хозяйстве, – о всем, так сказать, достоянии России. Вот почему люди, которые допускаются к финансовым должностям, облакаются большим доверием начальства, и потому они должны быть ему крепки... Они должны, так сказать, представлять начальству в самих себе прочное ручательство, что, кроме естественно в каждом честном человеке предполагаемого сознания собственного достоинства и священного долга, они скрепили себя другими узами, которые в своем роде тоже равны присяге, потому что они произносятся перед алтарем и начертываются в сердце...

Директор был немножко поэт, но Иван Павлович в ту же минуту умел перелгать его оду на обыкновенный прозаический язык.

– Я говорю о том, – сказал директор, – что в финансовом ведомстве довольно трудно полагаться на холостых людей. Холостые люди –

они, как мотыльки или как перелетные птички, всегда готовы порхать с цветка на цветок, с ветки на ветку. Посидел, вспорхнул – и нет его, и ищи где знаешь. В военной службе это, например, даже принято, но по финансовой службе это невозможно. Настоящий финансист, если он желает внушать к себе полное доверие, непременно должен иметь дорогих и близких его сердцу существ... Понимаете, чтобы ему было к кому чувствовать привязанность и было чем и для кого дорожить собою.

Директор чувствовал, что говорит вздор, и спешил окончить.

– Я разумею то, – заключил он, – что финансист непременно должен быть женат и иметь семейство. Да, да, да! Непременно! И я разумею не какое-нибудь ветреное семейство, составленное на холостую руку, а плотную и почтенную женатую жизнь. Истинный финансист, если он желает представлять собою надежные за себя ручательства, непременно должен быть женат. Одно глубоко и искренно уважаемое мною лицо, которого я не назову вам, раз прямо высказало мне свою тайную

задушевную мысль, что, по его мнению, ответственные должности по финансовому ведомству предпочтительно надлежит доверять людям женатым. И мы этого держимся, если не совсем без отступлений, то по возможности мы женатым даем преимущества. Таковы почти правила для финансовой службы, если ею управляют как следует. И я хотел бы сказать, что это прекрасные правила, выработанные практикой и освященные временем. И для того, кто имеет благородное честолюбие и кто способен никогда не упускать из виду сделать себе быструю и хорошую карьеру, – я надеюсь, что я не говорю ничего необычайного и нового. Кто религиозен и кто уважает заповедь Божию, тот должен знать, что «не благо быть человеку одному». Этого положения обойти нельзя, ибо оно вечно, ибо это... так...

Директор поднялся с своего кресла, вознес вверх правую руку с двумя выпрямленными пальцами и закончил:

– Так сказал о человеке сам Бог!

С этим сановник вручил свои два пальца Ивану Павловичу и отпустил его со словами:

– И я так вам советую и желаю вам счастья

и успехов. Ваш столоначальник почти такой же, как вы, молодой человек с прекрасным образованием и сердцем. Вам с ним будет приятно. В нем много самолюбия, и он на своем нынешнем посту долго не засидится. Я не люблю оставлять без поощрения людей способных и меня понимающих. Томить людей не следует, и никого из моих подчиненных не томить – это мое правило.

Они поклонились друг другу самым пристойным и самым выразительным манером.

## Глава десятая

Спустя столько времени, сколько Ивану Павловичу показалось нужным для того, чтобы дело его имело надлежащий вид, он подал своему директору записку о разрешении ему вступить в законный брак с Марьей Степановной.

Граф Канкрин хотя с неудовольствием, но все-таки не отказал в просьбе Марьи Степановны и был у нее посаженным отцом.

Иван Павлович для этого случая обнаружил всю тонкость своего практического ума: он устроил свадьбу «по-английски» – тихую, в маленькой домово́й церкви, состоявшей на особых правах.

Министр ни малейшим образом не имел причины пожалеть о том, что он уступил *последней* просьбе своей милой знакомой, которой уже ранее сказал свое «adieu».

Она ему, впрочем, напомнила об этом «adieu», когда, по приезде из церкви, осталась на короткое мгновение вдвоем с глазу на глаз с графом.

– «Adieu», – сказала она, – может говорить

женщина мужчине, но не мужчина женщине. Вы меня оскорбили – это на вас не похоже.

Граф извинился рассеянностью.

– Я очень рада, а то я начинала думать, что вы способны забывать свои самые лучшие философские правила.

– Например, какие?

– Никогда не говорить «никогда». Вы меня этому учини, и я помню.

Граф засмеялся – как будто этим ему было приведено на память что-то очень смешное и в то же время приятное.

– А что, видите, – вы мне, верно, не льстили, находя у меня «философскую складку».

– О, я вам нимало не льстил! Вы не только имеете «философскую складку», но вы совсем великий практический философ.

– И что же, должна ли я теперь сказать вам «adieu»?

– Mon ange [11], – вы можете по-прежнему сказать au revoir.

И он взял и поцеловал ее руку, а она слегка коснулась его лба и слегка же уронила ему в ответ:

– По-прежнему.

## Глава одиннадцатая

Иван Павлович немедленно же получил место столоначальника и был очень счастлив в своей семейной жизни. Марья Степановна была ему прекрасною женою, что ей было и нетрудно, потому что она этого молодца в самом деле любила. Из ее приглашения графа к «прежнему» для супружеского счастья Ивана Павловича не выходило ничего угрожающего. Марья Степановна была не пустая, легкомысленная кокетка, которая способна упражняться в кокетстве по одной любви к этому искусству. Нет, Марья Степановна была умная женщина, и именно русская умная женщина, с практическим закалом. Она широко обзревала раскрывающееся перед нею поле жизни и умела отличать кажущееся от существенного. В самом ее красивом облике тонкие черты новогреческого типа, если всматриваться в них, напоминали одновременно старый византизм и славянскую смышленность. В ней было что-то пристойное бывшей «матерой вдове Мамелефе Тимофеевне», перед которою в раздумье тыкали посош-

ками в землю и трясли бородами поважные старцы, чувствуя, что при такой бабе им негоже над бабьею головою тешиться. Весь разговор, веденный Марьей Степановной с целью упомянуть про «прежнее», был умный прием не для возобновления прежних «пустяков», из которых Марья Степановна выбралась совсем не затем, чтобы к ним возвращаться, «как пес на своя блевотины», а для того, чтобы сохранить декорум. Она знала французское присловье, что и «королевская любовница не стоит честной жены пастуха» – и она вышла замуж недаром, не балуясь; но что могло быть пригодно, того она упускать тоже не хотела. Уважала или нет она своего Ивана Павловича, – это иной вопрос: умные, практические женщины редко кого уважают, да им это и не нужно; но она его *любила*, и этого с нее было довольно, чтобы сделать для него привязанность к ней легкою, приятною и ничем не возмутимою.

Как большинство женщин подобного практического склада, она любила Ивана Павловича просто за то, что он молодец собою, а притом расторопен, сметлив и ей по-

слушен. Он ей во всем станет верить: она его ни в чем не обманет – именно потому, что он ей очень нравится, и они вдвоем заживут в мире и согласии без всякого уважения, и возьмут с жизни на свой бенефис прехорошую срывку.

А о том, что о них будут говорить, что о них станут думать, – этому вздору она знала настоящую цену.

«Будь бела как снег и чиста как лед, и все равно людская клевета тебя очернит».

Играя с графом на «прежних» струнах, она знала, что аккорд зазвучит так, как она захочет.

Уголь, который она раздувала будто бы неосторожно, был ей известен: она знала, что в нем есть некоторая теплота, но не осталось уже ни малейшей доли опасного пламени.

Но именно эта-то тихая и безопасная теплота ей и была полезна для ее целей. В ней именно и нуждалось их все-таки пока еще совсем неустроенное и несогретое домашнее гнездышко. Граф был нужен, – и Иван Павлович знал это ничуть не менее, чем его супруга. А потому, когда Канкрин, считая себя со-

вершено уединенным с Марьей Степанов-ной, целовал ее пальчик в знак восстано-вления чего-то «прежнего», – Иван Павлович, стоя за дверью с шампанской бутылкой, при-держивал подрезанную пробку, чтобы она не хлопнула ранее, чем разговор будет кончен.

Он явился с вином как раз вовремя и кста-ти, когда все нужное уже было сказано.

## Глава двенадцатая

**И**ван Павлович, при всей его малозначительности для такого несомненно большого человека, как граф Канкрин, сделался тем, что был какой-то сомнительный дух, вызванный из какой-то бездны словом очень неосторожного аскета.

Выскочил Иван Павлович перед графом из-под уборного стола неожиданно, как гороховый росток из пупа индийского дервиша, которого описывает болтливый француз Жаколио, а убрать его назад с глаз долой сделалось трудно.

Это произошло, во-первых, от изящной манеры графа никогда не оставлять без внимания тех дам, с которыми он был однажды ласков, и во-вторых – тут оказались на античных ручках Марьи Степановны (которым могла позавидовать Лавальер) забористые коготки «матерой» Мамелефы Тимофеевны.

Граф был поражен, как начальник колена Иуды, от собственных чресл своих: он не мог отбиться от предупредительного желания угодить ему в лице Ивана Павловича. Этот

молодой счастливец в начале следующего года был представлен уже в начальники отделения. Канкрин его утвердил – хотя, впрочем, осведомился:

– Что же, разве он очень способен?

Ему отвечали:

– О да-с; он очень способен.

Министр не имел никаких причин оспаривать заключения ближайшего начальника, и Иван Павлович стал начальником отделения.

Это великий уряд в департаментской иерархии. С этого уряда начинается уже приятная положительность не только в департаменте, но и в мире. Начальника отделения уже не вышвыривают из службы, как мелкую сошку, а с ним церемонятся и даже в случае обнаружения за ним каких-нибудь больших грехов – его все-таки спускают благовидно. Начальник отделения получает позицию – он уже может пробираться в члены благотворительных обществ, а оттуда его начинают «проводить в дома». И положение его все лепится глаже и выше.

Для жены чиновника достижение мужем места начальника отделения было еще важ-

нее. Теперь это значительно изменилось, потому что иерархия вообще расслабела и потеряла престиж, но тогда и женщины ее знали и соблюдали. Все жены лиц низшего положения иначе не назывались, как «наши чиновницы», ниже которых были одни курьерши, а с жен начальников отделений уже начинались «наши министерские дамы». Эти уже не ходили на Пасху в приходский храм, а приезжали в «свою министерскую церковь», где их с предупредительностью провожал дежурный чиновник и подавал унесенное из канцелярии мужнино кресло; дьякон подкаждал им грациозным движением щегольски роко-чущего кадила с стираксой, а батюшка говорил: «цветите и благоухайте!»

После пасхального служения у начальниц отделения уже нередко целовали ручки даже сами директора, а взамен того мужья начальниц поздравляли лично директорш...

Это уже был «министерский круг», сопри-касающийся с «кабинетом», а не канцелярия, которая граничит с курьерской.

Иван Павлович с Марьей Степановной преодолели эти ступени, но они не думали на

них остановиться. Да, по правде сказать, это им было и невозможно, ибо, несмотря на то, что официальная часть положения была теперь в порядке, но в неофициальной многое не ладилось: дамы называли Марью Степановну «*ci-devant*» [12] и немножечко от нее сторонились.

Надо было сделать что-нибудь такое, чтобы образовать свой круг и заставить отдать справедливость своим способностям, которые в самом деле были достойны внимания.

Марья Степановна кое-что придумала. Она нашла повод видеться со Скобелевым, который когда-то знал ее ничем не знаменитого отца. Старый комендант тоже был не прочь приволокнуться и обошелся приветливо с милой дамой, а она заинтересовалась его рассказами. Она вообще попробовала кое-что говорить о литературе и увидела, что в России ничего нет легче, как это. Скобелев заходил к ней пить чай и иногда излагал такие рассказы, которые не были напечатаны.

Марья Степановна чувствовала вкус к простонародности – там столько сердца, ума и юмора...

Скобелев находил, что все это есть и в самой в ней.

В самом деле: разве находка у нее нынешнего мужа в некотором роде не самая просто-народная сцена? Разве это не отдает «Москалем Чаривником»?.. Как хороша взаправду живая народная жизнь! Марья Степановна почувствовала негодование к выходкам против Белинского. Скобелев ей открыл более, и она добилась случая видеть раз знаменитого критика. Потом у ней пил чай и что-то читал Николай Полевой, и кто-то с кем-то спорил о славянофилах и о необычайном уме молодого Хомякова.

Это произвело свое действие: «министерские дамы» изменили неглижированную прерзительность на сосредоточенную сухость, в которой одновременно ощущались и надмение и зависть.

С таким недоброжелательством со стороны искренних уже можно было жить.

Марья Степановна пошла пожинать плоды умного посева.

## Глава тринадцатая

Марья Степановна, разумеется, не могла любить литературу, а имела ее лишь только для своих практических целей. Литература представляет большое удобство, когда хочешь говорить о чем-нибудь, а не о ком-нибудь, – так, однако, чтобы это было для нас полезно. Она усвоила две-три мысли Белинского, знала какое-то непримиримое положение Хомякова и склонялась на сторону Иннокентия против Филарета. Словом – впала, что называется, в сферу высших вопросов.

Это дало ей апломб и заставило многих кивать головами: «чем-то это кончится?»

Иван Павлович уже был сделан вице-директором. Полагали, что это по жене, у которой такие прекрасные, хотя, быть может, и не безопасные знакомства.

Только она уже очень рисковала. Граф Канкрин был человек довольно свободных взглядов, однако сказывали, что и он, подписывая назначение Ивана Павловича вице-директором, поморщился.

Но судьба Ивану Павловичу служила с

невероятною преданностью: как нарочно, случались такие дела, что надо было командировать туда и сюда лиц способных и достойных, и всякий раз министру представляли для таких дел Ивана Павловича.

Это было очень неприятно Канкрину, и он одно представление отложил в сторону, – сделать было неудобно; но через несколько дней граф был на одном музыкально-литературном «soirée intime» [13], куда гости попадали не иначе, как сквозь фильтр, – и вдруг там, в одном укромном уголке, граф встретил скромную женскую фигуру, которая ему сделала глубокий поклон с оттенком подчиненности и иронии и произнесла только одно слово:

– Excellence! [14]

Граф не ожидал ее здесь встретить и, немножко взволновавшись, взял ее за руку и сказал:

– Ах, мой друг, – ведь уж для него много сделано – что же такое нужно, чтобы я еще сделал?

– Только не мешайте.

Граф улыбнулся и отвечал:

– Это напоминает комедию: «Одно слово

министру». – Ну, хорошо: я подпишу.

И он подписал Ивану Павловичу новое повышение.

Сила ее над графом была доказана. Пусть он и морщится, когда ему представляют Ивана Павловича, но в общем сочетании различных комбинаций все-таки приятно. Вскоре к протекции Марьи Степановны стали прибегать сторонние люди, имевшие в графе надобность по делам, и, престранная вещь, – тоже выходило успешно...

Было ли это случайное совпадение обстоятельств или нет, – в этом трудно было разобраться.

Пошло какое-то жужжанье, в котором мешали всё, упоминая что-то и про Иннокентия и про Хомякова, – и вдруг также что-то такое про взятку...

Словом, являлось острое положение, в котором надо – как говорят игроки – «квит или двойной куш».

Марья Степановна повела на двойной куш, и об Иване Павловиче в самую неожиданную минуту последовало новое представление графу к повышению.

Граф вскипел.

– Что такое!.. куда его еще!.. И притом я что-то слышал...

Представлявший отлично знал, с кем имеет дело, и хорошо нашелся.

– Да, – отвечал он, – я знаю, что говорят: это очень жалко, но это не его вина, – а вина его жены, которая увлечена идеями славянофильства Хомякова...

Славянофильство графу было противно.

– Что такое? Какие хомяковские идеи? Это что-то про сорок мучеников... Я в этом решительно ничего не понимаю. Оставьте у меня бумаги.

Но тотчас же где-то и как-то опять является «она, прелестной простоты полна», и даже без «excellence», а с одним поклоном, и дает делу желанное направление.

Увидав ее в высоком круге, граф захотел во что бы то ни стало раз и навсегда избавиться и от нее и от ее мужа самым решительным приемом.

Он сам с нею остановился, сам взял ее за руку и сказал:

– Я все, все сделаю, но другим образом.

Марья Степановна отвечала:

– Я всегда верю вашему рыцарскому слову.

# Глава четырнадцатая

Дело о карьере Ивана Павловича приходилось завершать – только бы не быть более с ним вместе.

Граф сделал комбинацию. Другое лицо большого положения – граф Панин имел надобность в услуге министра финансов.

Канкрин ее сделал скоро и охотно, а чрез некоторое время явился просить за подчиненного, которого заслуг он не в силах совместить с ограниченностью персонала по своему ведомству.

Граф Панин пожевал и отвечал, что «совмещать» многое очень трудно, и свободнее других это может разве Перовский, у которого не перечесть сколько хороших мест, находящихся в его власти.

Перовский это и сделал, а Канкрин, подписывая бумагу о согласии на перевод Ивана Павловича в другое ведомство, совсем неожиданно для предстоявших перекрестился по-русски, как сам Хомяков, и сказал:

– Это, как там говорят, «нынче отпускаеши». Наконец я не буду опасаться, что мне

представят, чтобы я его утвердил начальником самому себе.

Так все были введены в обман и думали, будто, представляя Ивана Павловича, делали графу неописанное удовольствие, тогда как это было совсем напротив.

Но собственно «отпущения» графу все-таки не было. В Петербурге поняли, что в услужливости ему в лице Ивана Павловича было много ошибочного, но в провинции, куда этот карьерист поехал большим лицом и где первенствующее положение Марье Степановне уже принадлежало по праву, они были встречены иначе. В оседавшее тесто словно подпустили свежих дрожжей, и оно пошло подниматься на опаре.

Марья Степановна слыла всемогущею по своему прежнему положению и совмещала теперь это с выгодами нового положения: она стояла выше того, чтобы ее подозревать в искательности: она говорила словами Белинского «о человеке нравственно-развитом», следила за Хомяковым, беседовала с Иннокентием и... брала самые отчаянные взятки даже по таким ведомствам, которые были чужды

непосредственному влиянию ее мужа. Все думали, что в ее лице заключается всеобщее надежное «совместительство».

С кем она делилась тем, что взимала, – это была ее тайна, но граф напрасно думал, будто его решительная мера отстранения совместителей от непосредственного участия в ведомстве освободила его на самом деле от их влияния.

– Совместительство, как лесть, может являться в разнообразных формах, и где не промчится зверем рысучим, там проползет змеею или перепорхнет легкой пташечкой. Надо свет переделать или, другими словами, приучить людей, чтобы они в каждом деле старались служить делу, а не лицам. Вот это поистине прекрасная задача, и добром вспомнется имя того, кто ей с умением служит.

Так закончил свой рассказ правдивый и умный человек, со слов которого мною теперь передана вышеизложенная историйка «о совместителе».

*Впервые напечатано – журнал «Новь»,  
1884.*

# Примечания

Граф Егор Францович Канкрин род. 1774 г., состоял генерал-интендантом в 1812 г., а с 1823 года министром финансов. Умер в 1846 г. Был отличный финансист и известен также как писатель; писал на немецком языке. (*Прим. Лескова.*)

[^^^]

## 2

Здесь: побренчать (*нем.*).

[^^^]

# 3

с распростертыми объятиями (*франц.*).

[^^^]

Дитя мое (*франц.*).

[^^^]

## 5

Имена героя и героини я ставлю не настоящие и фамилии их не обозначаю. От этого изображение эпохи и нравов, надеюсь, ничего не теряет. (*Прим. Лескова.*)

[^^^]

# 6

Спасибо, дитя мое (*франц.*).

[^^^]

подноса (*франц.*).

[^^^]

# 8

прощайте, мое дитя (*франц.*).

[^^^]

# 9

до свидания, господин N – ов (*франц.*).

[^^^]

# 10

жалкое бречанье (*франц. и нем.*).

[^^^]

Мой ангел (*франц.*).

[^^^]

«бывшей» (*франц.*).

[^^^]

ИНТИМНЫЙ вечер (*франц.*).

[^^^]

Ваше сиятельство! (*франц.*)

[^^^]